

К 85-летию В. П. АСТАФЬЕВА

«ИЗ ТИХОГО СВЕТА» В. П. АСТАФЬЕВА. К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «ПОПЫТКИ ИСПОВЕДИ»

(*Публикация Н. С. Цветовой*)

Для современных исследователей творчества В. П. Астафьева самым противоречивым этапом литературно-биографического сюжета является завершающий. Кто-то склонен думать, что так и выдохлась неопределенной интрига, основанная на напряженном ожидании последней правды о войне, потому что заключающий собрание сочинений эпический текст не оправдал читательских ожиданий. Кто-то под напором критики в качестве финального события творческой биографии писателя с горечью и недоумением принимает широко растиражированные горькие строчки «Эпитафии». И ни теми, ни другими не замечается, что, словно в преднамеренное усложнение ситуации, писатель завершил свой путь по-астафьевски же мощно и своевольно «попыткой исповеди» «Из тихого света», заключающей блок художественных текстов в последнем прижизненном собрании сочинений, произведением, к которому, судя по истории и отведенному ему месту, сам прозаик относился особенно трепетно.

Подготовивший пятнадцатитомник Астафьев во многом облегчил труд текстологов, восстановив основные этапы творческих историй наиболее значительных работ. Но творческую историю именно этого текста в комментариях к тринадцатому тому, в который он был включен, сократил до одной фразы: «Подбор отрывков из разных в прошлые годы писанных повестей и рассказов мне показался любопытным, и давно в столе лежавшая рукопись „Попытка исповеди“ тоже».¹ При этом писатель оставил знак долгой и трудной судьбы своей литературной исповеди — четыре даты создания: 1961, 1975, 1992 и 1997 (год первой и единственной публикации). Эти факты позволяют утверждать, что с 1961 г. было подготовлено не менее четырех вариантов «исповеди», но текст ее до 1997 г. никогда ранее не публиковался.

¹ *Астафьев В. П.* Собр. соч.: В 15 т. Красноярск, 1997. Т. 13. С. 731.

В архиве писателя, поступившем на хранение в Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, обнаружен единственный автограф этого произведения. На автографе дата, напрямую не соотносимая ни с одной из указанных в собрании сочинений — «Академгородок, 23—24 ноября 84 г.». Дата эта имеет отношение только к машинописному тексту, который хранит еще и следы двухэтапной рукописной правки, фактически представляющей два варианта, наложенных на машинопись.

Можно предположить, что машинопись — это вариант, завершённый к 1984 г., т.е. контаминация редакций 1961 и 1975 гг. Два следующих — подходы к редакции 1992 г. Судя по содержанию канонической редакции 1997 г., создавалась она после ухода дочери,² потому что только в ней представлены внутренние монологи повествователя у могилы *«родного дтя»*. Следовательно, исправления, внесенные в период с 1975 по 1992 г., Астафьев либо не воспринимал как определяющие, принципиально важные для текста, либо не учитывал их, так как не считал ни один из этих вариантов завершённым.

В публикуемых вариантах представлено воспоминание-размышление о мистическом, не однажды повторившемся видении — встрече с неизвестной, так и неузнанной девочкой-ангелом, ответственной отнюдь не за физическое существование героя, но за сохранение его духовного начала — *света*, оберегающего человека от соблазна животного существования.

В машинописном варианте, видимо, завершённом в начале 80-х, жанр текста определен как «затесь» под названием «Загадка памяти». Жанровые особенности «Загадки» вполне соответствовали уже сложившемуся к тому времени представлению о «коротком лирическом рассказе». Повествование открывалось ностальгическим пейзажем-воспоминанием о детстве. Завершалось взволнованным исповедальным монологом, посвященным бесконечной в своем разнообразии жизни, животворящей силе и значительности памяти человека и человечества. Целостность обеспечивалась символическим образом девочки-судьбы, впервые мелькнувшей в третьей книге «Затесей» — «Вздых», в миниатюре «Из далекого сна», почти весь сюжет которой — риторический вопрос, обращенный к будущей героине «Исповеди»: *«Что же ты, девочка, из далекого детского сна более не приходишь ко мне и не зовешь меня?»*

*Ты была в синеньком ситцевом платье».*³

Можно предположить, что именно с этой крохотной миниатюрой и связано возникновение замысла заветной «затеси» — завершения *«беседы с самим собой в поисках глубин бытия, смысла жизни»*,⁴ из которой вырастет текст «исповеди».

Если вдуматься в многочисленные признания писателя о том, что значила для него уникальная модификация избранного жанра, то понятно, почему он не спешил с публикацией именно этого текста

² Дочь писателя Ирина скончалась в 1987 г.

³ Астафьев В. П. Собр. соч. Т. 7. С. 207.

⁴ Там же. С. 536.

и почему он бесконечно к нему возвращался. Примерно так он работал над «Последним поклоном» и повестью «Пастух и пастушка», с той лишь разницей, что все промежуточные варианты этих вещей обязательно предъявлял читателю, а тут упорно и упрямо скрывал. Значит, знал, помнил, предощущал, что «Исповедь» как высшая литературная форма самопознания должна была стать текстом ключевым, итоговым, вроде последней ступени «Лестницы». А возможности «короткого рассказа» столь значительной литературной задаче не соответствовали. Именно поэтому в конце концов Астафьев и вывел главную «затесь» за пределы уже сложившегося цикла сначала новым жанровым определением — *«попытка исповеди»*, а в 1997 г., при подготовке канонического текста, — новым названием *«Из тихого света»*.

Каноническая редакция, получившая этот заголовок, впитала и аккумуляровала энергию всего семичастного цикла, объединившего в конце концов более двухсот текстов, и стала последним словом писателя, процесс вызревания которого был настолько интимным, сокровенным, что Астафьев, вопреки своему же уже сложившемуся опыту, не опубликовал преждевременно ни одной редакции, ни одного варианта.

«Многослойный» автограф «попытки исповеди» — в писательской практике Астафьева — явление не исключительное. Как всегда, первый слой — машинопись почти без знаков препинания, обширные периоды. А потом рукой поверх машинописного текста раз и другой выправлял интонационный рисунок, отлаживая звучание единой и неповторимой мелодии повествования.

Прояснением художественной задачи при работе над этим текстом можно считать появление вроде бы мимолетного, но все же двукратного упоминания о благодати в заключительной части канонической редакции «исповеди». В советские времена, на которые пришлось мировоззренческое становление Астафьева, само это понятие целенаправленно и осознанно изгонялось из жизни. Но «попытка исповеди» убеждает, что с Астафьевым все случилось по предсказанию Блаженного Диадоча, утверждавшего, что несправданные Духом обязательно обретают Благодать, хотя такого рода и уровня обретение — процесс сложный, благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом с сильным того ощущением. Хотя, как свидетельствует «Эпитафия», времени на обретение Благодати В.П. Астафьеву отпущено в этом мире не было, но, пройдя многотрудный путь к исповеди, подготовившись внутренне к покаянию, писатель в последнем по времени создании тексте, который, наверное, можно рассматривать как его художественное завещание, шел к «тихому свету», одним из истоков которого можно считать образ «Свете Тихий», получивший множественное воплощение в русской поэзии XIX столетия.

Традиционно считается, что исследователи истории художественного текста имеют возможность наблюдать, как постепенно возрастают логичность, стройность, художественная цельность литературного произведения. По отношению к Астафьеву это утверждение явно недостаточно. История литературного завещания, которое сам Астафьев признал только «попыткой исповеди», дает возможность для суждений

об эволюции мировоззрения художника, что более важно для понимания творческой индивидуальности, для осознания законов творческой эволюции художника, который стремился отнюдь не к достижению художественного совершенства, но к наиболее полному самовыражению и наиболее глубокому самопостижению.

Правила публикации

Для передачи машинописного варианта текста используется прямой светлый шрифт. Рукописные вставки выделены светлым курсивом.

Зачеркнутые фрагменты печатаются прямым полужирным шрифтом и заключаются в квадратные скобки. Зачеркнутые вставки передаются полужирным курсивом и также заключаются в квадратные скобки.

Вставки во вставки переданы особым шрифтом — «Arial», в необходимых случаях к ним применяются все указанные выше правила оформления. Подчеркнуты рукописные вставки, сделанные чернилами черного цвета. Зачеркнутые фрагменты этих вставок печатаются прямым полужирным шрифтом.

Непрочитанные слова, словосочетания, фразы обозначаются как <nrзб.>

В машинописи и в рукописных вставках встречаются случаи несоответствия применения писателем правил орфографии и пунктуации существующим нормам, этим фрагментам придан нормативный, литературный вид.

Рукопись публикуется с разрешения М. С. Астафьевой-Корякиной.

1-й экземпляр

ИСПОВЕДЬ (ПОПЫТКА ИСПОВЕДИ)¹

[Загадка памяти Затесь]

...Угол серого, *подопрелого* амбара, далее — темные стайки с кучами навоза, выкинутого зимой через окошки, на навозе — густой, вольный, [какой-то] дурашлив[ый]о веселый бурьян, в котором дурманно пахнет темнолистый пьяный конопляник, похожий на какое-то диковинное, нездешнее растение, и жалица, *прореженная кое-где пустырником, вроде бы с робким сиреневым переливом, но все же потеснившим жалицу* нашу сибирск[ая]ую, с резным листом, [тоже] в яростных колючках. [, н] Наглая, плотно стоящая, дружно себя обороняющая от всего живого, к ней недружелюбного — оккупант и оккупант, только так, чужим словом и должно [ее] заклеить [, и] такое *свиное растение*.

Все это: и угол амбара, в заглушь преющие стены стоек с выбитыми стеклами и налипнувшим на грубые рамки сухим назьмом, [и] вся [эта] задворная глушь [задворная] в каком-то сиротском, исходном свете, истаивающем тепле. [, и] И никого [здесь нет] за амбаром нет, а вроде и есть кто-то, и этот «кто-то», сдается мне, настороженный, [присмирелый], чего-то чувствующий, с чем-то вроде бы расстающийся, еще в малых летах, одетый в холщевую рубаху до пят, голыми пятками впаявшийся в высохший, пыльно-мягкий назем, [и] где-то близко и в то же время далеко, недвижимый, беззвучный лес по горам и за ним, за лесом, чудится пространство земное и небесное, [а] далее еще что-то, чего никак не достать глазами, слухом, но что ощущается воображением, [но] ощущается [как-то] отраженно, как этот солнечный блеклый свет, это слабое дуновение тепла, хоть самого солнца на небе нет и теплу вроде бы идти неоткуда. [, н] Но где-то, что-то [и] есть? Живое. Во плоти. Нет, скорее, расплывчатое, недвижимое, неслышимое, но все же чем-то осязаемое. Чем? И что это, что так тревожит меня, особенно во сне, и [только] меня ли *только*.

Двухэтажный деревянный дом. Казенный. С перекошенными рамами, крашенными густой бордовой краской; [унесенной, видать,

из пожарки]; двери, крашенные в тот же цвет, распахнуты. От двух дверей до крыльца с вынесенными вперед стенками. Сверху, на бревенчатые выносы набиты доски с уже вышерканной на них краской. Доски крыльца [всегда] служили людям вместо скамеек, и на скамейках этих в летнюю пору любили посидеть мужики и покурить табак. Пойдут в общественный туалет о восьми дырках, в галошах на босую ногу, в телогрейке, накинутаой на [плечи] *исподнее*, и шапчонке, мятой кепке, а то и голоухом, а на обратном пути непременно присядет человек на крыльцо, задумчиво глядя на реку, вдаль, скрутит сигарку; к нему молча подсаживается другой, третий. И снова бледноватый свет или отражение света, неслышное тепло или отражение тепла, слабое его парение. В окнах красными мушками обвешан ванька-мокрый, осыпается бутон герани, но два других уже красно, *многоперстно* набухли, расперлись плотью [почек]. < Далее *нрзб.*: ... *разожметя стиснутая горстка цветка и ... в огонек... радостную* ... >

[И, д] должно быть, это в Игарке.² Только там я видел такие дома из бруса, с перекошенными рамами, с вынесенными бревнами крыльца, и только там, в Заполярье, бывает это [редкое,] слабое, ласково-печальное тепло при бледном желтоватом свете. И мне видится, [что] я си[дел] жу [там] между двумя молчаливыми мужиками, с похмелья скрипло и мокро кашляющими, отплеывающими горькое мокро за стенку крыльца, на смирную заполярную траву. Сидел, молчал, и они меня не трогали, не прогоняли, курить не предлагали. Посидел, помолчал, поднялся и ушел.

[А м] Мужики молча смотр[ели]ят мне вслед...

Изгиб лесной реки, свалившиеся в воду подмытые кусты, темные, мокрые, в пятнах рыжих грибков по сырой коре, и задавленная черной моросью гниющего кустарника, втиснутая под навес корней и пластушин земли, зеленеет и бледно цветет смородина. Под [нею] *кустом смородины*, в промытом камешнике, сплошь застелив дно, лежит полуразвалившийся, в лохматой, изорванной коже, [бело]лустоглазый елец и хариус, и на мертв[ой]ых рыб[е]ях темной рябью червяки-ручейники вцепились в рыхлые, полуистлевые тела [рыбок, иных] *мякотелого хариуса* уже [перепилили], переели [на]пополам, [иным] вы[ел]точили глаза и пучком всосались в *круглые* глазницы.

Водохранилище с тухлой водой не пригодно для зимней стоянки [и полуспячки] светловодной рыбе, и [она] *после того, как подперло реки и речки*, стала оставаться в мелководной речке на зиму, на несколько зим сходило, но вот [прошлая зима] *настала* [была] переменчивая зима, то морозы, то сырая хлябь, наледью покрыл[а]о речку [многими слоями], придавил[а]о лед ко дну, *перемерзла на перекатах речка, схватило* [ее] *вверху и внизу плеса*, [начало сдавливать] за горло. Неумолимо двигался, намерззал, *оседал*. полз по дну лед, выжимая воду наверх, и чем он ее больше выжимал, тем толще и непроницаемей становился лед[, *задыхаясь*, р] Рыбки [задыхались,] опрокидывались вверх брюхом, судорожно дергали ртами, хватили воду яркими жаберками, [а их, о]бессиленны[х]е тела их несло под этот бережок, набивало в бороздку, и не осталось в ямке ни одной

живой души[, с]. С берега под лед вкопалась норка и таскала [, таскала] дармовую добычу, [но] до тех пор пока вода [стала] не подн[иматься] ялась по норе [, и] забила [намерзать в ней] ее мерзлой пробкой. [, н]Недостижимая сделалась мертвая рыба и зверушке,[и] когда промыло весной лед, обтаяли берега, поднялось мутное половодье, по речке несло и кружило, будто палый лист, мертвых рыбок и забивало ею такие вот промоины, забоки, уловца, [забивало в] прелые кусты.

Но я-то там как? Рыбой был и задыхался? Речкой ли вешней, веселой и свободной ото льда, зверушкой ли, озабоченной семейными делами и мимоходом уже заглянувшей в омуток? А может, человеком я там был, содрогнувшимся от догадки о неминуемой и неизвестно какой смерти? О червях, которые вопьются и в мое тело?

И еще, и еще видения. Предметы, дома, люди, реки, дороги, горы, леса, дальние страны, в которых я никогда не бывал, Катадокия,³ например, древняя Астания? <нрзб.> восточная страна, сплошь покрытая выветренными скалами причудлив[ых]ейших форм и расцветок, и пещеры, пещеры в этих горах, в скалистых высях, там обитали древние люди. Я видел во сне или за сном, в каком-то другом сне или чувстве. Показывали Катадокию по телевизору, все мне было там не внове, все это я видел во сне или за сном, в каком-то другом чувстве или явлении...<нрзб.> ведь я не бывал даже на Востоке и тоскую...<нрзб.> ... все не по порядку, все в разное время, не обязательно праздничное, явь и вымысел в одной купе, возникающие иногда на ходу, в людской толпе, среди работы, среди сна, в самолете, на лодке, чаще у огня, в глухой тайге [где-нибудь]...

Скользнет, вспыхнет видение, приостановится в памяти и булькнет в бездонный омут времени [...] и пространства.

Но есть и такое, что не уходит, что все время, как наваждение, как призрак, тень, отголосок, ответ — как и сказать, не найдусь...

...Москву накрыл циклон со снеговертью, с бухающим по крышам ветром, с той мразью, когда свет белый не мил, — да и нету его, свету-то белого, серо, мокро в небе, и бездушно, мокро, серо вокруг, [сиротливо, а] на земле пленка снега, тонкая пленка, блеклого, вроде бы неживого и никому, даже самому снегу и ветру не нужного [...] покровы, ничего и никого не радующего. [Как в] Все тело болит в такую погоду, в голове звенит, как в пустой колокольне. Особенно почему-то тяжела такая погода в Москве, в ее каменной утробе, [особенно] совсем чужой, [и] совсем равнодушной, в такую погоду начинаешь думать: сколько же умерло и умирает в эту погоду, всё и всех давящую, безобразную ...<нрзб.> погоду [в этом городе] людей в этом городе, сколько задыхается в каменных стенах от больных легких, от спазмов сердца, зовет и не может дозваться на помощь [, а г]. Где-то, на окраине этого города-гиганта дни и ночи работает, [дымный] масляно жирным дымом курится крематорий, из людского ...<нрзб.>к нему длинная, покорная очередь, стиснутая горем и недоумением.

[Мы, курсанты Высших литературных курсов,⁴] Съехавшиеся на учебу в Москву вчерашние... солдаты, жаждающие ищущие мудрых

знаний, разгоняли тоску легкодоступным способом, разбившись на кружки, пили в запущенных, полухолостяцких комнатах водку и не ездили на занятия. [, **ехать и**] Надо тащиться в центр Москвы, тяжело ехать, неохота. Кто-то из курсантов, грамотей-цитатник, после двух дней [безобразн...] угрюмой попойки проскрипел ныне ставшую расхожей цитату из Экклезиаста насчет того, что [тот, кто] умножа[ет] ющий знания умножает [и] скорбь, и мы не поехали в учебную аудиторию и на третий день, зная, что она все равно не пустует [совсем] — всегда и везде находятся [аккуратные, упорные] ученики, готовые живот свой положить, чтоб хоть чему-то научиться.

Снег уже не вытряхивало над Москвой [из небесных хлябей,] из необъемных [серых] мохнатых мешков, просто дул ветер из серой, мозглой пустоты в серую [мокрую], злую пустоту, и оттого, что в нем, в ветре, уже ничего не ташилось, не кружилось, и все, что должно быть принесено, выброшено, содрано, оторвано, он оторвал, выбросил, вытряс, ветер выл [и свистел] голодно, пустынно, [одиноко, голодно] сквозь оскаленные зубы, злые и крепкие,] выбрасывал всю свою силу и злость просто так, [просто] от дикого разгула и необузданности, давя, [пичкая могучею силой своей] сознание людей, [и] сминая их больные кости и слабые тела для того, чтоб[ы не забывали о зле,] памятовали, что есть сильнее, [злее] злее и неистовее их силы [и стихии...]

Я не выдержал тупой, безотрадной пьянки, не заглушающей не то что боли в костях, [а] но даже не притупляющей сосущего сердце чувства одиночества, и вышел на улицу, на ветер. В [э]том месте, где [стояло] было наше общежитие, сплошь стояли современные многоэтажные дома, [и] тоже большей частью студенческие общежития. [, и в] Возле них всегда ходи[т]л туда-сюда, толка[ет]лся, сме[ет]ялся и шум[ит]ел народ, [а тут хоть бы] но ныне ни одн[а]ой жив[ая]ой душ[а]и [и] только ветер, голодный, неистовый ветер властвует на земле и в городе, клонит долу стволы, рвет на посаженных нами кленах папахами смерзшиеся семена. [И пошел] Я пошел вдоль общежитий, меж шумящими, устало качающимися деревьями и голыми стенами домов, с одинаковыми окнами, дверьми и подъездами. [И вот и]Из одного подъезда, с бидоном в руке, вышла девочка, вышла и в нерешительности остановилась, схватившись за вязаную шапочку, [и не решаясь] боясь ступить из заветрия дальше, в беснующееся [ветром пространство], воющее, свистящее пространство.

Наконец [она] девочка решила и шагнула от подъезда, будто с тонущего корабля за борт, все так же держась за шапочку и жмурясь от ветра. Пальтишко на ней было воробьиного цвета и покроя, тоненькое, с затянутым и завязанным в узел на животе пояском и там ее не поддувало, но [видимо] сильно хватануло за грудь, и девочка той рукой, в которой был бидон, попыталась [схватить] зажать у горла пальтишко, прикрыть грудь [крылышками] перьями бортов, тоже похожими на короткие воробьиные крылышки. [Но и]Из пальтишка девочка выросла, [пальтишко] оно не захватывалось у горла, и, сделав резкое движение, девочка сронила крышку с бидона. [, и вдруг е]Ее, эту белую крышку, вдруг подхватило ветром, поставило колесиком,

на ребро, и быстро покатило по мокрому асфальту. Я как раз поравнялся с девочкой и бросился вслед за крышкой, пытаюсь ее поймать, но **[это]** никак *мне это* не удавалось сделать — крышка вертелась, подпрыгивала, усклизала в сторону, *шата[ката]*лась на ребре готовая вот-вот упасть, она снова **[оказывалась]** *выпрямлялась* на ребр[е]о и с веселым звоном, *с бесшабашной удалью* катилась и катилась с бульвара на улицу, где, поднимая вороха *мутной воды* **[машин]** из неровно накатанного асфальта, двигались грязные, угрюмые машины.

Долго, словно живая, играла с нами веселая крышка **[с]** бидона, и мы с девочкой, захлебываясь ветром и смехом, гонялись за ней. Я уж начал подумывать — не плюхнуться ли брюхом на крышку и придавить ее, будто живую **[рыбку придавить]** *птаху*, заграбастать и отдать девочке. Бог с ним, с пальто и с брюками. Вычищу! Зато настроение мое разом **[улетучилось]** улучшилось, все недомогания, внутренняя отупелость пополам с раздражительностью куда-то улетучились, **лег[че]ли**, *опустились* на *дно* душ[е]и, *хорошо мне разом* сделалось. **[, х]** Хотелось озоровать, **[как]** *будто* мальчишке, прыгать, **[играть,]** гоняться за кем-нибудь и за чем-нибудь. Но крышка приостановилась на скаку, завертелась волчком и опрокинулась вверх конусом, на котором круглилась белая бомбошка с желтым пятнышком. **[, и н]** На самой крышке тоже было желтое пятнышко, при ближайшем рассмотрении оказавшееся цыпушкой. «Всё! — как бы говорила своим видом крышка. — Задачу я свою выполнила. Развеселила тебя и девочку. Но устала. Сдаюсь».

Я поднял крышку с асфальта, произвольно шоркнул ее доннышком о полу пальто, чтоб стереть со дна крышки грязное мокро — **[за молоком, наверное, [должно быть] пошла девочка]** и все еще улыбаясь во весь рот, с бряком водворил хулиганистую крышку на место, водворил и первый раз глянул на девочку **[пристально]**, глянул и отшатнулся, смутная тревога начала проникать в меня, сдавливать нутро, и хотя я все еще улыбался, но это уже был **[о отражение прямой улыбки]** отсвет **[ее]** *улыбки*, гримаса на лице. **[, и д]** Девочка, бледное долговязое и большеглазое дитя **[большого города]**, смеявшаяся звонко, во весь свой большой и *свежий* рот, вдруг встревожилась, и ее **[вдруг]** заалевшие губы стали сворачиваться, закрываться, словно чуткий цветок на ночь, но до конца не закрылись. **[, и в]** В полуоткрытом **[её рту было удивление,]** *рту* девочки *светились* два крупных, белых зуба, и во *взгляде* что-то *давнее* да безотчетная тревога; **[в глазах пробуждался и накатывал,]** накатывал[о] на зрачки, расширяя **[и их, и]** глаза *во весь размах испуг* **[— тревога, а может быть детский н].** Ни с чем не сравнимый *детский* ужас, *смятение* ли, *ошарашенность*...

Я где-то видел **[, знал]** эту девочку. **[, но]** Нет, не здесь, не в Москве, не во дни и годы учения **[вполне ведь мог с нею встретиться на улице, в магазине, на почте]**, нет, я видел **[и знал]** *знал* ее очень давно, *видел* в каком-то другом месте, *видел* в тихом, слабом, *недвижном*, лампадном свете **[освещенном желтоватым холодным светом,]** овеванную *еле ощутимо* реющим, **[слабым]** исходным теплом. Но девочке лет восемь-девять, мне **[под пятьдесят]** *за сорок*, я никогда не жил **[подолгу]**

в Москве, тем более на ее окраине, на так называемом Бутырском хуторе, и нигде **[не видел девочку и]** и никогда не мог видеть и знать эту девочку. **[, и]** И все же, **[все же]** я видел давно и всегда, знал ее. **[, в]** Всю жизнь, быть может, с младенчества, **[и]** она была не просто девочка, она была мне близка и родна. **[, я]** Я любил ее какой-то странной, отдаленной **[любовью]** и до того невероятной и душу тревожащей, что никому, даже самому себе не смел в этом признаться, и любил любовью я ее не блудной, не скрытой и грешной любовью, **[какой-то бестелесной, удаленной, душу успокаивающей и обогревающей спокойной нежностью любовью.]** Какое-то бестелесное, нежное чувство размягчало и успокаивало мое сердце. Девочка навсегда была во мне и со мной, как тело мое, как моя душа, которую я лишь ощущаю, но не знаю, что она, где и как? Девочка приближалась ко мне, делалась явственно осязаемой тогда, когда тускнел вокруг меня этот свет, отдалялся этот мир и высвечивалось, оживало что-то другое, потустороннее, всегда покойное в каком-то отдаленном свету.

[И она, она являлась ко мне в]Во время болезней, в госпитальном бреду, в беспамятстве девочка возникала вдруг, неслышно приближалась, тихо была рядом, ничего не говорила, не протягивала руки, она просто присутствовала, просто смотрела, помогала мне дышать, переносить боль, подвигала к **[исцелению]** выздоровлению, и я всегда боялся отпугнуть ее криком, громким стоном, пристальным взглядом, неловким движением. Она была бесконечно далека от меня и в то же время неосязуемо растворена во мне и во всем...<нрзб.> вокруг, **[и этот бледный свет, исходное]** ласково реющее тепло всегда были с нею, **[действовали на меня успокоительно, исцеляющее...]** исходили вроде бы от нее и воскрешающее ... <нрзб.> оно живоительно веяло на меня, уменьшало жар, растворяло ... <нрзб.> морок, и я воскресал, возвращался к этой жизни.

Но если я не видел **[девочку]** и не знал **[её]** московскую девочку, она тем более не могла видеть и знать меня. Я родился почти на сорок лет раньше ее, жил в другом месте, другой жизнью и помыслами **[наверное, другими, и]**, это так естественно. И тем не менее я видел по **[ошарашенному]** взгляду **[по девочкиному испугу, почти ужасу — она]** девочки, что ей страшно, наверно, почти в ужас ...<нрзб.> тоже она узнала меня, узнала не как встречного, как еще одного дяденьку на улице, она узнала во мне кого-то того, кто постоянно **[присутствовал]** был в ней, **[восставал и присутствовал в ее жизни в [становился рядом в дни и]** минуты **[её]** помутнения ее разума, болезней, детского горя и слез, и своим присутствием отделял ее от этого мира, полного тревог и обид, погружал в беспредельную тишину, **[и]** в тот бледный, все успокаивающий свет, в то **[, почти]** полупустынное, бесконечное пространство, где реет слабое, **[для девчоно]ребячьего [возраста,]** и воображения, но волшебное, воскресительное тепло нежности.

В хорошие дни, в безмятежной жизни мы не являлись друг другу, но были где-то рядом **[были, присутствовали]** готовые **[явиться]** возникнуть по зову не сердца, нет, а чего-то совсем нам неведомого и умом нашим еще непости**[жимо]гнутого.**

Девочка начала отступать, держа бидон поднятым за дужку к груди, как бы загораживаясь им. [**и сначала**] *Сперва* она просто пятилась [от меня], затем засемила бочком, все не спуская с меня серых, до крика расширенных глаз, сделавшихся [**вдруг**] по-взрослому глубокими, как бы выветленными тем всевластным волшебным дальним светом [**изнутри**] и такая бездонная память, такое давнее страдание виделись [**в них**] *внутри их*, что я содрогнулся [**в себе и остановил ненужный, притворный вопрос**]. «Что ты? Что ты, девочка» — *хотел я успокоить девочку, объяснить и отъять от себя вину, но делать этого не надо было.* И я, и она все понимали. Все. Все! Все. Но ни я, ни она объяснить ничего не могли. Нам было тоскливо, [**и**] тревожно расставаться, и все же мы должны были расстаться. [**и с**] С каждым шагом *отдаляющим нас друг от друга [удаляющейся девочки]* слабело во мне напряжение, уступая место тревоге, тоске и сожалению о чем-то. Я хотел бы окрикнуть [**остановить**] девочку, и она [**бы понимал я**] остановилась бы, знал я покорно *остановилась бы и замерла.* Но я не смел этого сделать, да и не было во мне сил и способов сделать это. [**Природа**] *Это природа, нас народившая, не наделила ни меня, [ими] ни девочку ответными такими возможностями, ответной [такой] силой, мы могли быть вместе лишь в давней памяти нашей, в какой-то заземной, занебесной среде, созданной, быть может, все той же памятью или тем, что превыше, дальше нашего, там где-то, выше, дальше, что лишь подсознанием, мощным порывом гения, его гениальным чувством и наитием, обрекающим его на неведомые простым смертным, не наделенным высшими страстями и муками, страдание, тоску, жажду прекрасного, к которому дано ему было приблизиться, почти осязаемо почувствовать, узреть гармонию жизни и мира, а не крушение их, не полет к распаду и неизбежному концу.*

Поэтому всегда у гения в стихах, в песнях, на полотнах вместе со стоящей на холсте Прекрасной Венерой присутствует еще один дальний, [как бы] запредельный, но в земное обращенный, к нам приближенный мир; и поэтому никогда ... <нрзб.> не говорят громко в присутствии спящей Венеры, не шевелятся и не кашляют даже, когда звучит великая музыка...

*...Страх за вышнюю красоту, страх за тот, художником прочувствованный и воссозданный мир, который подсознательно живет в нас, рождает уважение к гению и ненависть за то, что ему было дано приблизиться к своей девочке (подчеркнуто В.П. Астафьевым. — Н.Ц.), осязать ее, получить [**заряд**] тепло нежности и вдохновения.*

*Упрощение искусства и слова есть упрощение чувств, отступление человеческого разума, потускнение вышней памяти, поэтому, только поэтому исчезло подлинное искусство и слово. Человек, отдалившись от своей девочки, отдалился от себя, от того, кем он был и мог быть. Отсутствие памяти делает человека обыкновенным смертным и неразумным существом, которому **почти** доступно было таинство мироздания, его тревожило ночное небо, манили звезды дальним светом, в сердце его рождалось чувство всеобъемлющей любви и жажда постижения загадки его и мира, его окружающего.*

Человек, который жуеет, испражняется, справляет необходимую для своего существования работу, человек, который ничего уже не ищет и не чувствует — «кто-то слышал мое обмирание, сердца не слышит никто» — никому и даже самому себе не интересен, да и не нужен. Пошатается он по земле, съест и выпьет положенное, переработает съеденное и уйдет туда, откуда пришел... в землю и станет землею. И это его справедливый удел. Его, лошади, собаки, коровы, оленя, змеи, льва, кролика — лишенный памяти оставляет девочку одну, лишает ее света, [жив] и жизнедательного тепла, за ним, как и за животным, смыкается бесчувственная тьма, ничто и никто не мучается, никто ничего не ждет, ничем не тревожится, не сгорает в страстях, не возвышается вдохновением до горных высот.

Смерть. Вместе с последним взглядом умирает всё. Даже надежды.

[Потом д] Девочка побежала, мелко-мелко перебирая резиновыми, бледно-розовыми сапожками с аляповатым цветочком на голеницах, побежала, как бы не веря, что за нею не гонятся, не схватят, не остановят ее. [, и она] И была, была какая-то над нею [вышняя] власть, которая заставляла ее последний раз огляну[лась] перед тем, как повернуть за угол дома, и она оглянулась, но тут же со всех ног бросилась за угол дома, [там] [еще ближе к дому] ей ударил ветер в спину, покатило [ее] по скользкому тротуару [и] вколотило ее в каменный мешок города. [унес, но мне показалось даже вознес куда-то, в какие-то близкие и в то же время не достигаемые ни умом ни сердцем дали [пространства], куда [и] только память возносится иногда [возносится] следом за девочкой, ищет [ее] что-то, опору, какую-то надежду, особенно во дни болезней, горя и тревог, и]. Но годы берут свое, стеклеет ли память, выросла ли и ушла из этого земного мира ТА девочка, однако памяти моей она уже часто далекая, неподвластная, я надеюсь и не могу вспомнить что-то, так мне необходимое, потревожить, воскресить [ее] в себе девочку, страну Кетадоккию, мою прошлую обитель и пристанище, и мне не хватает доброго, [слабого] далекого света, [животворного] подвижного тепла, из которого [мне кажется] и ро[дя] — ждаются тихие молитвы и та все утишающая благодать, которые бывают лишь в церквах, особенно в древних, деревянных, едва освещенных, где явственно присутствует, реет чей-то дух и слабое, но всегда, во все времена года, во все дни бедствий и тревог нашей жизни успокоительное, [сухое,] ласково реющее, животворительное [тепло], светлое, вроде бы исходящее не от солнца, а от какого-то неведомого никому, никем никогда не открытого источника, он вроде бы и открывается... <нрзб.> он в тебе и вне тебя, он есть ты и твое светлое продолжение во всем, что подвластно твоему разуму, чувству и взгляду.

Вот я и назвал слово! Вот я и приблизился к своей отгадке, но все равно мне боязно открывать его, сделать доступно-осязаемым, обыденным, страшно захватать его, упростить, опростить. Быть может, это то самое, что люди называют упрощенно и грубо — дух мой?!

И что там оно, этот дух? Что он значит? Как его и кто объяснит? На что он похож? А похож он на мою маму, еще на маленькую, восьмилетнюю, которую я, конечно же, в этом возрасте не видел, не знал,

и видеть, и знать не мог, но какая-то во мне присутствующая память подсказывала ее облик, и когда однажды, уже [старым] *пожилым* человеком я увидел маму на фотокарточке, снятую еще девочкой, то нисколько и ничему не удивился — именно такой я *всегда* видел и знал маму. И еще та девочка похожа на мою дочку, умершую в сорок [пятом, пятом] шестом году в совсем младенческом возрасте, [а] поднимись она на ноги, подрасти — была бы [только и] точно такой, какой я её знаю и вижу; и та девочка *лет трех-четырёх* в желтой, гуцульской безрукавке, расшитой по грудке *веселыми, цветными [орнаментом] нитками*, что лежала на дороге вместе с побитыми [с самолета] *цивильными жителями*, с беспомощно открытым в *последнем крике* ртом в [последнем крике,] последнем всплеске ужаса и памяти, наверное, той, той памяти, что древнее и глубже нас и наших страданий, нашей земной памяти.

Быть может, в летчике, неумолимо валившем на нее, на ребенка тяжелую страшную машину, она узнала его, *продолжателя ее памяти*, и он узнал ее, *продолжательницу его цельности*, но презирающий все, даже собственную память, отученный уважать и помнить *то, что его породило*, он не от[пусти]нял пальцев со спуска пулеметов и выкосил народ на дороге, застрелил беловолосую девочку в гуцульской безрукавке, с шелковистыми, веер[ом]чиком [на] по дороге рассыпавшимися волосами, [белесыми, на которые не наступал ни наступающий солдат] на них, на те детские волосы, на красивую, как у *взрослой пани*, головку не наступал ни отступающий не наступил *обувью чужеземный солдат*, [но летчик] не пощадил *ребенка*, убил свою память, как обреченный висельник, *выбил* сам из-под себя опору, а девочка, даже убитая, насмерть сваленная смертью в грязь и кровь войны, лежала чистая с ангельски светлым ликом, с успокоенно закрытыми глазами, и только рот, темно и *страшно* раскрытый рот, кричал в [про-странство] *небеса и в земные пространства, взывал: «Что вы делаете, люди? Зачем убиваете меня? Вы убьете вместе со мною себя!» [со мной исчезнет чья-то память,] испарится, [улетучится чей-то дух] живой [и животворящий] дух! [Неужели смерть вас не страшит?]*

Все девочки: убитые, обиженные, сироты, больные, обездоленные — похожи на мою мать и, значит, на того, кто родил и любил меня и кто назначил мне свою любовь, передал или перенес в меня свою память и, поскольку ей, моей маме, тоже кто-то оставил, передал свою память, и далее, до того, кто был, тоже была любовь и память, значит, нет у нее начала и нет конца, если только не обрывать ее насильственно, не истреблять злобно, у доброй памяти доброе начало. [и с] Стоит она, *эта преемственная память* или держится только добром и любовью и, если побеждает зло? память и любовь, исчеза[е]ют совсем, и тогда простор [для зла нет] на земле [места] *злу, [и если] ибо оно укореняется [го укореняется]* и произрастает только там, где исчезает добро, где нет *жива* духа, ни того, что мы называем святым, ни того, что [помнит] в нас и с нами, что *земно и постоянно [с нами] испытует, что* тревожит, поддерживает и исцеляет нас во дни [испытаний] *мучений* и бед.

...Угол каменной стены. К замшелым камням приник кипарис. Везде и всюду прямой, гордый, неприступно мрачный, тут он изогнулся стволом, впаялся ветвями в щели камней, бледный, гнутый, едва живой, он существует, отшатнувшись от проезжей дороги, его задеваю[щей] колесами телег, мимоходом ломают на нем ветки и пробуют острие ножей на стволе мальчишки, [а]но он живет напряженной жизнью все дни и только ночью перестают шевелиться и дрожать его изуродованн[ы]ое тело, пахучие ветви.

...Розовый березник в заснеженном косогорье...

...Одиноко под парусами удаляющийся в безбрежном океане корабль...

...Старое, тихое, заброшенное кладбище в лесу и среди всех упавших крестов и памятников стоит один фигурный лиственничный крест, серо-темный от ветров и выкипевшей смолы, стоит внаклон, как бы сопротивляясь ветру...

Мохнатая и пестрая, как шмель, [старая гнедая] лошадь, склонившая заиндевелую голову над прорубью, [и как бы] заглядывавшая в глубь чистой, голубой воды, [и] что-то там увидевшая и [для себя] угадавшая...

...И молодая лошадь, белая, холеная, с умными карими глазами, приплясывающая на нарядном поводке, среди [арены] трека конезавода, засыпанно[и]го опилками, как бы в страхе, на самом деле кокетливо, чтоб видно было всю её стать и красоту, шарахающаяся, [чуть] всплывающая на дыбы, и все время взгляд в сторону гостей, и в глубине его печальная усмешка: «Я старее, я умнее вас и потому моя судьба проще вашей и достойней, а несчастья мои только от вас и от подчинения вам. Я буду вечно, вы — не знаю...».

Чум, высвеченный от земли очагом, в меховой зыбке, из блюда грязной рукой ребенок достает крошки, накрошенные в красное вино, и горстями заталкивает их в рот, [а] на земле, сложив ноги калачиком, сидит молодая женщина с распущенными толстыми волосами, раскачивается и пьяно поёт-завывает...

...Четыре белогрудые ласточки-дита, засохшие в гнездышке, мать, вылетевшая с чердака за кормом, не вернулась к гнезду, *в деревне много брошенных людьми голодных, свирепых кошек...*

...Улыбка в уголке рта задушенного поэта Рубцова, чуть презрительная и хитрая-хитрая, будто сказать хочет покойник: «Живите. А я отмутился».⁵

...Одинокая маленькая женщина на пустом и неуютном перроне, покрытом тонким пластиком снега, похожим на бумагу, сплошь изорванную темными следами, — моя жена, куда-то опять меня провожающая...

...Внучка со сведенными еще в горсть, красненькими лапками-ручками, с неуклюже-большими, красными следами ног, с закрытыми глазами, слепленными белой пленкой, и беззубо, как-то страдальчески открытым, по-птичь каркающим зёвом — мой первый на нее взгляд и первая тревога — что с нею будет? Что ждет ее в этой жизни, на этой земле?..⁶

...И обязательно, всю жизнь — удаляющийся по пустынной дороге одинокий, тоскливый путник. [Туда, я знаю, куда знаю] [удаляющийся] я знаю, кто, кто это и куда он удаляется лицом к закату, к сгущающейся тьме...

...И реже, все реже, в совсем слабом, в совсем блеклом отсвете не девочка, нет, но [а как бы] тень её или [тоже её] уже отсвет...

Но хоть и так, хоть [и] устало, ослабленно, а все [еще жива] же [моя память] работает *моя память* и жив мой дух, который [сильнее и] *могучей*, древнее меня, значит, мне еще ощущать, жить, чувствовать, [и] до конца дней [отгадывать,] постигать Великую загадку и тем самым заполнять смыслом свою жизнь, свое в этом мире присутствие, окруженное всевозможными тайнами. [, и] *И* само существование мира, земли и наше в него и на нее пришествие не есть ли [самая огромная загадка,] таинственный дар, чье-то волеизъявление или распространение жива духа, вечно витающего в мироздании и не переставшего быть с кончиной нашей, ибо сама вера в жизнь, ощущение её неотгаданности и есть *бесконечность*, бессмертие наше, [а вместе с нами] и стало быть, и всего, что подвластно нашему воображению и чувству, быть может, тому чувству, которое присутствует в нас, но еще никем не открыто, [и] не отгадано и нет конца работе мысли, границ — воображению, пределов — чувству.

Академгородок.⁷ 23—24 ноября 84 г.

[Мир] Землю можно разрушить, цивилизацию, жизнь истребить, сотворив самое грандиозное самоубийство в мироздании, но останется дух наш, будет витать в безмерности времен, пространстве, искать [пристанища] приюта на живой планете, в чьей-то живой душе [приюта].

И однажды [увидится мне] мне лишь известная, мне лишь назначенная, моим воображением и памятью созданная [девочка] явится тихо, из тихого, доброго света девочка и протянет мне руку. Аминь!

¹ Изначально исповедь — жанр церковно-религиозной публицистики. Исповедь есть открытие грехов священнослужителю, который, наблюдая за духовной работой, дает практические советы, — примерно так определяет суть этого жанра богословие. Как это событие духовной жизни верующего человека можно соотносить с окончательно оформившимся к началу 1990-х обликом гордого, жесткого, резкого, нетерпимого литератора, трагически связанного с эпохой выросших в безбожии строителей коммунизма? Первое, что приходит на ум в поисках ответа на этот вопрос: термин используется в данном случае в традиционно метафорическом, вполне светском, «литературном» еще в эпоху Н. М. Карамзина значении, которое зафиксировал в своем словаре В. И. Даль (исповедь — «искреннее и полное осознание, объяснение убеждений своих, помыслов и дел») (см.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 54). Но в каноническом варианте Астафьев открыто признается, что, публикуя этот текст, он готовил себя к обвинениям в кривлянье и юродстве, значит, помнил о жанровом «целепологании», которое в случае с исповедью вполне определено — изменение образа своего бытия, внутреннее преобразование, собиранье в себе благодати.

² После гибели матери Астафьев сначала воспитывался в семье дедушки, а потом несколько лет провел в детском доме в Игарке.

³ Астафьев, видимо, имеет в виду Каппадокию — область в центре Малой Азии (на территории современной Турции). Во II тыс. до н.э. на территории Каппадокии находилось ядро Хеттского царства, которое сначала было завоевано Римом, а позже Османской империей. Современные богословы считают, что традиционное православное мировидение во многом сформировалось под влиянием отцов-каппадокийцев (Григория Нисского, Григория Великого, Иоанна Златоуста).

⁴ В.П. Астафьев учился в Москве на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР в 1959—1961 гг. Одновременно с ним учились Б. Можаяв, В. Белов, Е. Носов и др.

⁵ С 1969 по 1979 г. В.П. Астафьев жил в Вологде, где познакомился и подружился с поэтом Николаем Рубцовым. В 1971 г. Рубцов погиб. Астафьев принимал участие в организации похорон, глубоко переживал трагический, преждевременный уход товарища.

⁶ Внучка В.П. Астафьева Полина, родившаяся почти перед самой смертью Ирины, воспитанная дедушкой и бабушкой.

⁷ В Красноярском Академгородке В.П. Астафьев получил квартиру после переезда на Родину из Вологды.